# Отшельник

# Джон Апдайк

Когда-то у него были братья — двое старших и младший. Детство вспоминалось ему вечным соперничеством, шумной ссорой за пищу, одежду, внимание. Здесь же, в лесу, шума не было вовсе. Были звуки, но не шум. Поначалу, в первые ночи, передвижения зверей и их возня — дом явно стоял неподалеку от пересечения звериных троп — казались громкими и раздражали, похрустывание и шорохи наводняли сознание, готовое погрузиться в сон. Теперь он уже не замечал этих звуков — так механик не слышит машины, работающей без перебоев. Пока он обвыкался на новом месте, март сменился апрелем, а апрель — маем, и все в его беспокойном окружении кануло в невидимость, обрело прозрачность высшего порядка.

Однако никогда в жизни он не видел так хорошо, так много. Прежде он никогда не отличался ни в школе, ни в потасовках с братьями; что-то предельно простое виделось ему неразрешимой задачей и обволакивало его способность мыслить. Что-то сковывало его разум в самый миг осознания, снижало остроту ума в минуту, когда требовалась сосредоточенность, рассеивало волю, когда нужна была целеустремленность. Будто его мозг — вернее, система переключателей и рычагов, которые превращают движения души и разума во внешнее действие, — с таким трудом поддавался настройке, что попросту не мог вынести людской суеты, не мог выжить в тяжком густом климате человеческой деятельности. Теперь-то он видел, что этот климат никогда не был ему родным.

Дом он приметил во время охоты, в глубине участка с разнотравьем и кустарником в пестром подлеске. Участок принадлежал стальной компании, которая находилась на другом конце штата, в Питсбурге. Она купила участок по оптовой цене пятнадцать лет назад в расчете на залежь небогатой железной руды. Однако хозяева так и не начали разработку участка, а может, и вовсе оставили эту затею. Тем временем сотни акров земли зарастали как попало, терялись из виду следы внутренней разметки, эти свидетели давнего спора — старые граничные камни, ветхие изгороди и ржавые заграждения из колючей проволоки.

Поначалу дом испугал его. Лишенный крыши остов из песчаника с остатками кедровой дранки, все еще цеплявшейся за скат пристройки, — ну, тут делать нечего. Дом-призрак придавал этой глухомани что-то жутковатое. Когда же его построили? Деревья вокруг были высокими, но не толстыми, угадывались контуры фермы, утрамбованная земля которой все еще сдерживала натиск древесных корней. Может, участок был раскорчеван сотню лет назад, а может, его разработали только накануне войны. Внутри остова никаких признаков очага. Не только крыша, но и настил пола был начисто уничтожен непогодой; отверстие погреба, доверху заваленного камнями и заросшего ежевикой, зияло между брусьями пола, еще вполне прочными, так что они выдержали вес вошедшего. Их расположение поразило его сходством с арфой, а когда он поднял глаза, голубое небо, проглянувшее между голых стропил, развеселило его, будто он, сидя в сквозистой корзине огромного синего воздушного шара, пустился в головокружительный полет. Переступая с бруса на брус с вынужденной ритмичностью, он вспомнил о своем дядюшке, органисте лютеранской церкви: как безошибочно дядюшкины ноги должны были танцевать по клавиатуре педалей!

Однако не весь дом являл столь бесприютное зрелище. В пристройке, где, вероятно, располагалась кухня, еще сохранились и крыша, и пол. Виднелась даже полуразрушенная внутренняя переборка — ее сосновые доски были когда-то не оштукатурены, а оклеены обоями, — и дверной проем, дверь из которого давно исчезла. Другой лишившийся двери прямоугольник вел наружу через песчаниковый порог с двумя влажными углублениями — лужицами, не больше чайных блюдец, — и полосками параллельных желобков, оставленных зазубренным долотом каменщика. Кладка уцелела, и деревянная рама с разбитым стеклом, щербатая и покоробившаяся, казалась все еще крепкой. Если поставить двери, настелить дранку и обновить обшивку стен, дом будет вполне пригодным для жилья. Он был удивлен, что никто до этого не додумался. Похоже, даже хулиганье сюда давненько не наведывалось. Инициалы, процарапанные там и сям, успели постареть вместе со стенами. В погребе были набросаны проржавевшие банки из-под колы, пустые патроны от дробовика валялись под порогом, — верно, с какого-то давнего охотничьего сезона. Возможно, подумал он, перекатывая их на ладони, стальная компания нашла способ умерить пыл нарушителей чужой собственности, но вскоре и ее пыл угас — или устремился к новым легким победам. Значит, дом поджидает его, и никого другого, и даже не какую-нибудь влюбленную парочку.

Его младший брат, школьный учитель, наведался к нему первым. Стенли тогда с неделю как перебрался на новое место и все еще числился на плотницких работах. Фабричного производства оконная рама, каждое стекло которой несло пурпурную эмблему стекольной компании, была прислонена к березе, и это придавало клочьям травы и моховой поросли близ корней изнеженный вид тепличных растений. Стоял март, молодая зелень была проста и изысканна. Каждый росток скунсовой капусты[[1]](#footnote-1), пробивавший себе дорогу сквозь лиственный перегной, казался удивленным. Из-за поздней весны почва по эту сторону дома была влажной.

— Это не твоя земля, Стенли, — сказал ему брат. — Это даже не государственная земля.

— Ну пусть выкинут меня отсюда. Потеряю только пиломатериалы и гвозди.

— Как долго ты собираешься здесь оставаться?

— Пока не знаю.

— У тебя есть женщина, которую ты хочешь привести сюда? — Скулы Морриса полыхнули юношеским румянцем; Стенли не удержался от смеха. Моррис был самым младшим из братьев, моложе даже своих лет. Ему было под тридцать, он носил усы; было похоже, будто ребенок нарисовал игрушечного мужчину девчоночьей розовой краской и, осознав ошибку, старательно вывел у него под носом недостающую деталь.

Стенли ответил:

— А в мою комнату я разве не мог привести женщину?

Это была недобрая шутка, ведь Моррису всегда не нравилось, что брат приводил к себе женщин. У них были смежные комнаты на третьем этаже родительского дома, где жили все братья, кроме Тома, переехавшего в Калифорнию. Родители умерли, и Бернард, старший брат, подрядчик, вместе с женой и двумя сыновьями занимал бóльшую часть дома, и было не вполне понятно, унаследовал ли он весь дом единолично или все они являются равноправными совладельцами. Право Стенли жить в доме никогда не оспаривалось.

Морриса передернуло, и он быстро проговорил:

— Полагаю, не только мог, но и приводил. Но ни одна из шлюшек не потащится в такую даль. — Чтобы добавить словам резкости и холода, Моррис пнул ногой кустик скунсовой капусты, разнес его в лохмотья, и в воздухе потянуло падалью. — Ты поставил семью в дурацкое положение, — добавил он, и Стенли удивился, насколько шумным было присутствие брата, несмотря на всю его розовощекую нежность; казалось, Моррис со скоростью распространения вони заполнял зеленеющую чашу пространства вокруг дома.

Стенли почувствовал нажим, насупился:

— Да не надо никому знать.

— Ты намерен работать?

Стенли не понял вопроса. У него было две работы. Он служил смотрителем — или сторожем — при школе, где учительствовал брат, а на летний сезон уходил к Бернарду разнорабочим — копал канавы, мешал бетон и сколачивал опалубку, имея кое-какие плотницкие навыки. И хотя он всегда ощущал себя на грани решительного духовного *преобразования — образования* Стенли так и не завершил, оставшись без аттестата; над ним маячил свет, которому было все никак не воссиять в неразберихе будней.

— Почему бы и нет? — ответил он, и Моррис что-то удовлетворенно проворчал.

Но это был хороший вопрос, поскольку двухмильный путь в городок сквозь лесные дебри, казалось, от раза к разу не сокращался, а, напротив, возрастал, как обычно и происходит с большинством расстояний. Очередной предмет обстановки, изъятый из его комнаты в городке и водворенный на этой старой кухне, делал его уход все более окончательным. Было особенно дико выходить из дому до зари, во влажной бурой невнятице утра, когда первый косой луч еще не пробился сквозь стволы деревьев, а ветви отягчены тусклыми каплями, которые виделись ему застывшими наплывами ясной ночи; когда Стенли покидал свое упорядоченное пространство, ему чудилось, что он разрывает оболочку, слишком торопит созревание плода. Дом стал его второй кожей. Стенли особенно любил контраст между пиломатериалами, сиротливо сбившимися в кучу под плеткой непогоды и будто мечтавшими вернуться в свое изначальное сучковатое и ветвистое состояние, и новенькими заплатами из свежей сосны, опрятными, пахучими и ладно пригнанными. Латание, с его привкусом спасения, всегда нравилось Стенли. Расставшись с отроческой тягой к модным вещам, он предпочитал старую одежду, чудом не попавшую в кучу тряпья, нанося тем самым поражение Времени, — хотя все эти чиненые прорехи и бедные заплаты придавали ему, несмотря на их аккуратность, несколько жалкий и безумный вид. И та же самая безотчетная ненависть к излишествам, бережливая наклонность к отсрочке привели к тому, что промежутки между посещениями парикмахерской становились все больше, а бриться он стал через день, удваивая срок годности лезвий. Его ярая внутренняя чистоплотность обернулась внешней неопрятностью — перевертыш, обычный для камеры-обскуры его странных отношений с обществом. Ему все меньше хотелось входить в это общество, даже подземными переходами подвального этажа школы. Он знал, что школьники смеялись над его сутулостью, его медлительностью. Опасливо, понимая, как и в своих первых опытах близости с женщинами, что может получить нагоняй, но постепенно переплавляя чувство вины в какое-то странное равнодушие, он стал уклоняться от работы, поначалу в отдельные дни, потом — по целой неделе. Он отпустил бороду. К его удивлению, она оказалась рыжей, хотя вообще-то он был брюнет. Однажды к нему пришел старший брат.

Бернард нарушил его одиночество не так резко, как Моррис, но более весомо; для слуха, отвыкшего от звуков более громких, чем пение птиц или вечерняя трескотня насекомых, его голос казался мощным и грубым вторжением в ткань жизни. Было воскресенье; Бернард, одетый в темный костюм, стоял на зеленой прогалине. Он вспотел и был раздражен.

— Я потратил чертовски много времени, пока тебя отыскал.

— Там есть каменная ограда, она должна остаться по левую руку. Я и сам часто здесь плутаю. — Стенли был удивлен звуком собственного голоса, похожим на сухой хруст; целыми днями он ни с кем не разговаривал, хотя иногда напевал.

— Скажи, ты псих или прикидываешься?

— Я могу побриться, если мне нужно в город.

— Я не только про бороду, хотя, да будет тебе известно, она у тебя совсем оранжевая.

— Знаю. У меня здесь есть зеркало.

— Мои мальчики спрашивают: где дядя Стен?

— Пусть приходят. Если захотят, могут остаться на ночь. Но только одни, без друзей. Много народу у меня не поместится.

— Что это, по-твоему, за вольное житье?

Стенли задумался; казалось, Бернард придавал большое значение его ответу.

— Вольное житье?

— А ты знаешь, что говорят в городе?

— Обо мне?

— Говорят, что ты стал отшельником.

Стенли ощутил прилив странной радости, прохладное прикосновение утреннего света. Его невнятному существованию были приписаны определенность и достоинство. Он стал отшельником. Один брат был подрядчиком, другой учил детей, третий жил в Калифорнии, а вот он — отшельник. Куда лучше, чем иметь аттестат; но разве он достоин?... Стенли осторожно ответил:

— Мне как-то и в голову не приходило.

Теперь, казалось, и Бернард пришел в приятное расположение духа. Он передвинул ноги и будто нашел наконец достаточно надежные пазы для их непомерной черной тяжести.

— А все-таки, о чем же ты думал? Может, к этому как-нибудь причастны Лоретта, Лайнбах, кто-то еще?

Стенли вспомнил эти имена. Лайнбах был старшим смотрителем, а Лоретта — одинокая женщина, жившая в трейлере. Лайнбах был сухопар и суетлив, со вдавленными висками и яркой сеткой прожилок на носу. Он никогда не разлучался с женой, обитавшей в каждой складке его неизменно чистой и безупречно отутюженной серой рабочей рубашки, и демонстрировал столь рьяную заботу о четырех больших школьных котлах, что казалось, будто их жар поддерживает и его температуру тела. Лоретта была бело-розовой и мягкой, и любила пиво, и смеялась, думая о том, как лихо судьба покатила ее трейлер и забросила ее сюда, на край кукурузного поля. Вьюнок обвивал блоки из шлакобетона, заменившие колеса трейлера. Стенли всегда восхищался оборудованием ванной и кухни: оно откидывалось на никелированных шарнирах, а затем ловко возвращалось в нужные емкости. Но иногда Лоретта делалась неистовой и желчной; безудержное отчаяние и беспричинная буря негодования захлестывали ее мягкость и сотрясали уютные отсеки трейлера. Стенли подозревал, что даже он, Стенли, каким-то образом причиняет ей зло. Однажды, в последний день перед рождественскими каникулами, он нечаянно загасил огонь в третьем котле, забросив слишком много угля. Лайнбах, с посеревшим лицом и вмиг поблекшими прожилками на носу, ринулся воскрешать огонь с такой свирепой поспешностью, плюясь такими грязными немецкими ругательствами, что Стенли подумал, уж не Лайнбахово ли сердце он по оплошности заставил трепетать и задыхаться. Догадка о неслучайности этих явлений странным образом охладила его чувства к Лоретте. Похоже, в мире наблюдался свободный выход страстей, которые могли спалить его. Он ответил Бернарду:

— Нет, кажется, никто.

— Ну так что? В чем же дело? Ты здесь сгниешь.

— Ты видел Лайнбаха?

— Он просил меня сказать тебе, чтобы ты больше не приходил. Школа не может держать у себя в штате придурка, им надо о детях думать.

Из-за этого уродливого слова «придурок» (он так и видел змеящиеся Лайнбаховы губы, произносящие его) Стенли заартачился:

— Это потому, что я живу в лесу?

— Он еще не видел бороды. Когда ты ее сбреешь?

— Ну уж Лайнбах мне не указ.

Бернард рассмеялся, и смех прогремел, как выстрел.

— Ладно, живи как знаешь. Кстати, можешь хоть сейчас начать работать у меня. Я тяну фундамент в сторону кладбищенского холма.

— Если я пока тебе не нужен, могу и подождать немного.

Бернард снял пиджак, будто вступил в единоборство с лесом.

— *Ты мне* не нужен, — сказал он. — Все как раз наоборот. — Не дождавшись от Стенли никакого ответа, Бернард сказал, повысив голос: — Сходи с ума, дело твое.

— Дело мое... Мне надо кое в чем разобраться.

— Сиди тут в своем дерьме и воняй себе под нос. Скоро сам ко мне приползешь на брюхе, слышишь? Оставляю тебе сигареты.

— Спасибо, Берни, но я теперь почти не курю.

Когда стук шагов затих, Стенли пронзительно ощутил — и в этом было что-то обнадеживающее, — что он, как всегда, боролся с братом и, как всегда, добился отсрочки полного поражения.

Усиками привычки отшельник прицепился к лесу. Одиночество — двумерное состояние, и нужды его расчислить несложно. Чистая вода бралась из ближайшей речушки. На керосинке с двумя горелками Стенли готовил еду из консервированных продуктов, которые покупал раз в неделю на ближней окраине городка, в жалкой угловой лавчонке, цены в которой не слишком кусались. Хотя у него и было ружье, стрелять он не решался из боязни привлечь внимание и разозлить невидимых представителей власти, которые до сих пор его не беспокоили. Приготовление пищи удобно членило день; разогревая и комбинируя остатки еды, он потакал своему пристрастию к латанию. Проблему отходов он решил рытьем глубоких и постепенно заполняемых ям, которые, по его разумению, навсегда должны были остаться в лесу источниками особого плодородия. Чтобы размяться, он распиливал упавшее дерево, а потом сжигал его в старой кухонной печи, которую прочистил известным способом, протянув по дымоходу небольшую сосенку. Читал он мало. Керосин, волоком притащенный по лесу в пятигаллонной канистре, для освещения был слишком дорог. В одну из своих вылазок за скарбом в старый дом он поднялся на темный чердак и наугад снял с пыльных стеллажей две книги — мать когда-то собирала библиотеку. Она была заядлой читательницей, тоже на свой лад отшельницей. Спустившись, он обнаружил, что стал обладателем мышино-серого романа из жизни английского света, изданного в 1913 году, и болотно-зеленых мемуаров некой актрисы, отправившейся в турне по американскому Западу после Гражданской войны. Каждый день на закате он прочитывал несколько страниц то из одной, то из другой книги — в мистическом настрое, в каком часто открывают Библию, ища не связного повествования, но внезапного озарения. Он редко бывал разочарован, поскольку развертывалось ли действие на балу у сквайра в Суссексе или на импровизированной сцене в Додж-Сити, события (дочь разорившегося дворянина отклоняет приглашение на танец влиятельного промышленника; мексиканского бандита убивают во время сцены помешательства в «Короле Лире») были окутаны для него неизменным флёром очарования, искрились блестками неизъяснимого и божественного.

Величественная старая герцогиня, потерпев жестокое крушение всех надежд, прерывистым шепотом велела, чтоб ее отвели из гостиной в будуар, где на их мерцающие осколки можно было взирать с любовью и где, быть может, ей вновь удастся воссоединить их. На редкой странице не отыскивалось фразы, поражавшей своей тайной уместностью и вкрадчиво струившейся с листа в зрачок Стенли, в его сознание, его жизнь.

Я почувствовала в зале недовольство. Я продолжала петь мою безмятежную песенку, но угрожающий ропот нарастал. Вдохновленная отчаянием, я на мгновение застыла, сдернула колпак с колокольчиками, и мои великолепные длинные волосы водопадом рассыпались по шутовскому наряду. Разве могла я мечтать о том, что толпа будет повержена в столь благоговейное молчание, обнаружив под маской шута женщину. Меня до слез тронули овации, которыми эти мужланы наградили меня в конце спектакля. На таких пассажах Стенли казалось, что он видит внутри себя ангела, женщину в струящихся одеждах: она велела ему продолжать восхождение неспешной поступью дней к плоскогорью конечного просветления.

Дни были исполнены гармонии, ночи же были уклончивы и ненадежны; являлся незваный гость — бессонница, — чтобы разорить и лишить смысла уклад его жизни. В иные ночи он и вовсе покидал его; нередко Стенли просыпался под холодной луной и, спеша в забытьи к темному дверному проему, находил дверь затворенной, пока заря дыханием света не распахивала ее вновь. Будто, освобождаясь от избытка жизни, он становился слишком легким, чтобы погрузиться в сон; будто, очищаясь от великого зла, он попрал природу и она мстила теперь его оголенным нервам, — так после чистки ноют зубы. Он пытался успокоиться, и ему являлись тени знакомых женщин, но выбросы его естества в эти призраки лишь увеличивали пустоту внутри. Глядя в темноту, он представлял себя камнем, лишенным веса, безликим существом, он задумывался, была ли собственная его жизнь реальностью или только иллюзией, дарованной ему женщинами. В начале была мать, формовавшая своим пристрастным взглядом каждый дюйм его роста, затем тянулась милая вереница, в конце которой стояла Лоретта, в минуту близости похвалившая мужественную красоту его плеч, и воспоминание о ней — и даже о ее двухцветном трейлере, оплетенном пурпурным вьюнком, — физически расширяло его грудь, и кожа на груди становилась упругой, глянцевой и дубленой. И зачем он сохранил зеркало, сохранил, как некое подобие женщины, в которой он искал — вскидывая голову так и сяк, приглаживая бороду, робко улыбаясь — свое отражение, прежде оживленное восторгом? Он обрадовался приходу Лоретты. Это случилось в конце апреля. Его грудь раздалась, заходила мускулами, когда неуместные здесь синее платье и серый свитер замелькали между стволами, а затем и вся Лоретта появилась на открытом дворе фермы и стала пробираться ему навстречу сквозь заросли молодого папоротника, тут же поглотившего ее лодыжки. Очень тонкие лодыжки для такой полной женщины.

— Бог ты мой, — останавливаясь, сказала она. — Дайка я на тебя взгляну.

— Нет уж, лучше я на тебя, — ответил он. — Я и не знал, что ты умеешь ходить так далеко.

В отличие от прошлых посетителей, она пришла ближе к вечеру.

— Ты не хочешь пригласить меня в дом?

— Конечно, — ответил он. Ее наступление было мягким, но настойчивым. — У меня тут не так красиво, как в твоем трейлере.

Он был обрадован и взволнован до глубины души, когда она переступила щербатый порог и стала разглядывать так разумно организованное им пространство. И не нашла здесь ничего смешного.

— У тебя все сделано очень хорошо, — сказала она серьезно, даже с благоговением. И рассмеялась.

— Ты над чем смеешься?

— Это мне что-то напоминает, и я знаю что. Я когда-то знала одного китайца, холостяка вроде тебя, он жил в центре Филли[[2]](#footnote-2). В его доме пахло, как здесь. Может, керосином. Дай-ка тебя понюхать. — Она расстегнула две верхние пуговицы его рубахи, оттянула вниз вырез майки, уткнулась своим коротким носом ему в грудь и втянула воздух. — Ты пока еще не пахнешь, как тот китаец, ты до сих пор пахнешь, как Стенли. И сердце у тебя колотится.

— Так ведь уж сколько не видались.

— Я не думала, что ты меня ждешь.

— Я не думаю, что действительно ждал тебя.

— Но ведь я пришла, да?

— Ты пришла.

— Ночью, наверное, жутко холодно?

— Уже не очень. Не замерзнем. Ты голодна? Хочешь чего-нибудь?

— Хочу.

Он опустил глаза, желая прочесть на ее лице смысл ответа, но уже вечерело, его спина заслоняла ее от света, лившегося в окно, и он ощутил только смутный жар ее лица и пряный запах волос. Он уступил ей раскладушку, а сам постелил на полу одеяло, и каждый раз, просыпаясь ночью, он видел над собой светящуюся во тьме голую согнутую руку, тяжелое тело, плывущее над ним, как набухшее облако, вознесенное тощими ножками раскладушки и вспучившее брезент. Будто стало возможным вступить в тайные сношения с небом и посягнуть на луну, он настигал, и касался, и робел, потому что это тело вращалось вокруг него, и ускользало от кончиков его пальцев, и казалось то необъятным, то исчезающе малым, словно стремилось занять единственно возможное положение в расчисленном мироздании его светил.

Заснул он поздно и был разбужен ее возней у печи. Лязг и скрежет были так невыносимы, будто Лоретта орудовала железным хламом в самой его голове. Со спины, в блеклом утреннем свете, она казалась еще более тучной, напитавшись его жизнью. Она кляла керосинку, та все никак не разгоралась. Он вскочил голый, развернул Лоретту, вклинился между нею и плитой, оттеснил ее от плиты, кастрюль, его частной жизни. Она сдалась, ее лицо просияло торжеством, но когда он вошел в нее, глаза Лоретты сузились от гнева. Блестки света шаркали по шершавому полу, солнце неустанно пересчитывало свой доход. Под ним был противник, который одним махом мог опрокинуть его. Они встали, и гроза разразилась — слезы, потоки колкостей и оскорблений, жалкие приливы бездонной нежности. Поверх ее головы, лица, горящего в ореоле разметавшихся волос, он видел аквариум окна, наполненный утренним лесом; неужели ее вопли навсегда закроют ему доступ к этому чудному подробному зеленому миру, пронизанному солнечным светом? Он выждал, пока она позавтракает, и проводил ее до границы участка, до знака с надписью: «Проход воспрещен».

— Я больше не приду, — сказала она.

— Да, это не для тебя, — ответил он.

— Знаешь, чем ты тут занимаешься? — спросила она. — Ты растрачиваешь себя впустую.

— Я живу здесь так же, как ты в своем трейлере, — сказал он, улыбаясь и ища отсвета своей улыбки на ее лице.

— Нет, — возразила она ледяным тоном, который всегда следовал за ее буйствами, — у меня выбора не было. У тебя есть.

И все же как благодарен он был своим посетителям! — визит каждого из них что-то ему прояснял. Да, он выбирал. Он возвращался к себе, лес приветствовал его пением невидимых птиц и жестами безымянных трав, и Стенли снова подходил к выбору, к еще одной степени свободы, которая позволит ему избавиться от навязчивого экстаза этой ночи. Он разбил зеркало. Разжал пальцы, держа его прямо над каменной плитой у очага, и последнее, что в зеркале отразилось, был квадрат голубого неба. Осколки он вымел и захоронил подальше от дома, забросав их землей и листьями, чтоб место было не найти. Но некоторое время он ощущал, что с той стороны леса погребенные осколки наблюдают за ним. Это чувство ослабевало днем, но ночами усиливалось, помогая провалиться в глубокий сон, как и то детское знание, что в неведомый час его мать, спускаясь по лестнице к себе в спальню, непременно зайдет к нему в комнату, тронет его лоб и подоткнет одеяло. Бессонница больше не мучила его. С тех пор как Лоретта ушла из его жизни, он в сумерках уже начинал дремать, часто не мог прочесть ни строчки, зато утром вставал с восходом солнца.

Никогда прежде он не видел так хорошо, так много. Холодный апрель сменился фестончатым маем. Внезапно лопнули почки, выпустив оборки бесчисленных фасонов. Он стал пристально изучать тончайшие различия — и сделался знатоком оттенков коричневого и серо-зеленого, вариаций формы листьев, способов и ритмов прорастания, сказавшихся в том, под каким углом выпрастывается юная веточка, вытолкнутая родительской ветвью. Он знал от силы дюжину названий деревьев и цветов, и его неумение означить словами их различия заливало мириады зеленых популяций сверкающей прозрачностью легкой дымки; и хотя его мозг с трудом наводил порядок в этом море зелени, Стенли приветствовал каждый узнанный вид не по имени, а собственно по образу, как вспоминают сестру, сменившую в замужестве фамилию. Его память уподобилась книге на чужом языке, с иллюстрациями, ценность которых чудесным образом повышалась невнятностью текста. Когда он впервые вошел в этот дом и отважился ступить на далеко отстоящие друг от друга брусья, лишенные настила, ему казалось, что он перебирает ногами струны арфы; теперь же эти тонко настроенные уровни различий, закрепленные, хотя и податливые, представлялись ему настоящей, большой арфой: то ли она ждет, чтоб на ней заиграли, то ли из нее уже непрерывно льются аккорды, и миг тишины неминуемо оглушил бы его. Упрямые лабиринты мхов и трав зачаровывали его. Даже мельчайшие сообщества подчинялись закону различий. Стенли чувствовал, что окружавшая его масса зелени бесконечно дробима и вуаль в сравнении с ней груба, как холстина; Природа, эта прочная сеть схлестнувшихся аппетитов, распадалась в его глазах на безымянные подробности и более не существовала — либо была простым описанием чего-то иного.

Еще приходили мальчики: двое племянников и их друг. Друг появился в городке недавно, он был худощавый и коротко остриженный, с такими темными карими глазами, что они казались круглыми. Стенли почувствовал, неуклюже принимая своих гостей, что он обращается главным образом к этому незнакомцу, поскольку известная ему недоверчивость и вечные потасовки племянников навсегда приучили его не обращать на них внимание, даже когда ему приходилось жить в их шумном соседстве. Теперь они присмирели, глядя на странного своего дядюшку. А он не знал, чем их занять; возможно, мальчики ожидали увидеть какой-то результат его работы, рукотворное свидетельство о накопленных им днях. Но не было ничего, разве только его жилище, которое он давно уже перестал усовершенствовать, да еще его нынешнее, чуть сдвинутое восприятие действительности. Он повел их лесом, показал едва заметный прямоугольник булыжников, здесь, верно, стоял амбар, указал на симпатичное скопление катышков, которыми мелкие лесные зверушки обозначают свое присутствие, пригласил мальчиков пройти берегом ручья, туда, где соединение корней и камней, заросших мхом, под действием эрозии превратилось в замок, даже в цепочку замков, обжитых муравьями. Мальчики кинулись давить муравьев; Стенли закричал, они отпрянули от него, от его худобы, его рыжей щетины. Они осваивали лес, увлекая Стенли так далеко, как ему и в голову не приходило забираться, к месту, откуда виднелись дымящая труба какого-то дома и сверкающая лента автострады. По дороге мальчики выломали себе по хорошей палке и, размахивая ими во все стороны, сбивали сухие ветки; наваливались всем весом на мертвые деревца, чьи остовы годами стояли неподвижно, поддерживаемые сучьями заглушивших их деревьев. Где бы мальчики ни кружили, они повсюду отыскивали смерть, натыкаясь то на совиные погадки[[3]](#footnote-3), начиненные мышиными костями, то на вздувшийся продолговатый трупик лесного сурка, задушенного собаками, то на непонятным образом отделенную переднюю ногу оленя. Матрица изобильной жизни леса в их глазах была представлена лишь этими немногими драгоценностями. Стенли дал им на дорогу по яблоку и отослал их домой без приглашения прийти еще раз. Прощаясь, Стенли почувствовал восприимчивость незнакомого мальчика, неутоленное любопытство его круглых глаз, его готовность к ученичеству, а ведь Стенли сам был всего лишь на половине своего неторопливого пути. Новое, острое искушение. Но мальчик исчез вместе с двумя другими.

Стенли мылся редко, живя среди людей, — понапрасну лить и пачкать воду казалось ему расточительством; теперь же он мылся часто, ведь чистая вода в ближнем ручье текла день и ночь, и расточительством было бы не пользоваться ею. Ручеек был глубиной лишь в несколько дюймов, а шириной — как раз по нему: чтобы окунуться, Стенли вытягивался на ложе из красного песка и гладкого песчаника и сам превращался в большой камень, а ручеек поначалу неловко топтался на месте, а потом холодно соглашался его омыть. Чтобы смочить спину, Стенли переворачивался вверх лицом и вглядывался в неистовой синевы прорехи на зеленом пологе листвы — так тонущий бросает последний взгляд в небо. Потом он вставал серебряным человеком и шел, роняя капли, обратно, чуть в гору, нагишом по теплой, свалявшейся мульче прошлогодних листьев. Ему приходило в голову построить запруду, но эта мысль ему претила. Стоячая вода непременно привлечет комаров. И еще он смутно опасался, что поток прорвет запруду и помчится через лес к морю, разглашая тайну его лесной жизни. К тому же, если в его распоряжении и не было естественной заводи, в которой он мог бы окунуться, хотя бы сидя на корточках, в его купании было важно, что каждый дюйм его тела, даже веки, осязал воду. Иначе он не мог бы без стыда идти по лесу, не был бы совершенно серебряным человеком.

Однажды, возвращаясь, он почувствовал, что за ним наблюдают; он думал, что причиной тому захороненные осколки зеркала, но потом увидел одиноко стоящего в море папоротника перед его домом испуганного мальчика — того, третьего. Мальчик заговорил первым. «Прошу прощения», пробормотал он и бросился бежать, а Стенли, охваченный внезапным страхом потери, боязнью быть не так понятым, кинулся вслед, верно, представляя собой жутковатое зрелище: в безмятежности древесных вертикалей мокрый тощий человек с бессловесно разинутым ртом и скачущим члеником. Мальчик бежал быстрее, и Стенли вскоре остановился. Сердце бешено стучало; казалось, оно пробежало на несколько шагов дальше и только потом вернулось под защиту дрожащей грудной клетки. Он удивлялся своему порыву, стыдился его. Эта внезапная погоня опрокинула месяцы тихого ожидания, ожидания — теперь он это сознавал — быть застигнутым врасплох. Он видел, что чудом уберегся от разрушительного смятения, ведь ученик подорвал бы его уязвимое одиночество и стал бы поглощать нектар его жизни быстрее, чем тот прибывал.

Теперь каждое утро он просыпался с ощущением, что его окликнули. Поначалу это было еле заметное чувство, сообщившее его пробуждению смутную тревогу с привкусом вины. По мере того как это чувство повторялось в последующие три утра, неслышный голос наполнялся мужественностью, настойчивостью и бесконечной добротой. Он не принадлежал его снам; Стенли хорошо знал свои сны, а этот зов пробивался снаружи. Он возникал, насколько Стенли мог судить, в миг между сном и явью. Но в то же время зов проникал и в сновидения — так звонок телефона в комнате ниже этажом проникает в сюжет любовного действа, — и призраки, перенесенные из его памяти о мире людей, подвергались осмеянию и становились призрачными вдвойне, то и дело разрушаемые упрямым сигналом. Желая расслышать голос, встретиться с ним без помех, напрямую постичь смысл его страстной настойчивости, Стенли засыпал, словно бежал на свидание. В наказание, две ночи голос не давал о себе знать. Робкий ученик, Стенли заключил, что голос не был реальным, а сам он, как и предсказывал Бернард, потихоньку сходил с ума. На следующее утро, когда стало светать, это ощущение в седьмой раз посетило его, на сей раз более мощное. Он вскочил, как по команде, раздавшейся в комнате, и понял, что зов был, наподобие утренней росы, конденсатом некоей реальности, существовавшей постоянно, и в дневные часы тоже. Стенли чувствовал, видел его как беспредельное совершенство всего сущего в мире; доскональная точность строения коры, слоистая прозрачность листьев, величественный ритм интервалов между древесными стволами — все было посланием, которое требовало отклика. От ответа он уйти не мог. И все же зов был столь тих и неназойлив, что отчетливо расслышать его было не проще, чем расслоить банкноту бритвенным лезвием, — Стенли когда-то читал, что фальшивомонетчики прибегают к такому трюку.

И хотя он отвлекся, занимаясь стряпней, завтракая, разрубая ствол упавшей березы, ощущение длилось, пело между ударами топора, пронизывало весь день. Становилось досягаемо конечное просветление, перехода к которому Стенли искал так давно; пелена вот-вот спадет; нужно только совсем успокоиться. Тогда это рассеянное в воздухе присутствие сконденсируется в слова и щедро вольется в его разум. Он вымылся, обсох, надел свежие, выстиранные в ручье рубаху и штаны, в линялые волокна которых вкрапились красноватые песчинки наподобие священной соли. Наконец он затих и успокоился, сев на широкий плоский порог; прислушался. Наполовину утопленный в лужице, собравшейся в овальной выбоине песчаника, лежал одинокий прутик. Ветерок едва касался верхушек деревьев, и в мерцании зелени верхние листья оттачивались на оселке света. Все кругом было объято тишиной; на дне ее зарождался какой-то звук. Стенли подался вперед, не понимая его смысла, и наполнился радостью, неотличимой от страха.

Лес разбился вдребезги; из него вырвался Моррис и, задыхаясь, подбежал к Стенли, стал его трясти, клясть на чем свет.

— Ты погубил нас, выставил круглыми идиотами.

Стенли не мог отвечать, так крепко он был охвачен волокнистыми объятиями новой жизни, почти полностью овладевшей им. Он взглянул на брата; застывшая маска гнева, лихорадочный румянец Морриса болезненно опалил новорожденную душу Стенли.

— Что на тебя нашло? Мальчонка был так напуган, что несколько дней слова не мог сказать. Берни из сил выбивается, чтобы уберечь тебя от тюрьмы. Сейчас сюда придут. Я побежал вперед, чтоб ты хоть успел одеться.

Но Стенли был одет. Он хотел оправдаться, он понимал, что Моррис ждет ответа, но все же решил не осквернять своей доли тишины. Обернувшись, он увидел силуэты, выросшие на дальнем краю папоротниковой поляны. Бернард с обоими сыновьями, дрожащими от нетерпения, как гончие, перепуганный третий мальчик, пораженный катарактой непонимания. И еще двое. Один в бордовых слаксах, полосатой рубахе и темных очках, которые он снял. Это был Том, приехавший из Калифорнии. Странно он вырядился. Другой — в сером деловом костюме; своим новым зрением Стенли увидел, что это был либо офицер медицинской службы, либо представитель стальной компании. Тишина постепенно возвращалась, и Стенли видел, что все они стоят на хрупкой прозрачной поверхности. Они кинулись к нему, и пошла суетня, и толкотня, и неотвратимо нараставший гул разрушения.

1. *Скунсовая капуста* — Symplocarpus foetidus — широколиственное многолетнее растение семейства ароидных, распространенное в Северной Америке; характерно резким неприятным запахом. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Филли* — шутливое название Филадельфии. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Совиные погадки* — отрыгнутые совами непереваренные остатки пищи, в значительной степени состоящие из меха и костей грызунов. [↑](#footnote-ref-3)